

АНКЕТА

Науки о литературе и/или о культуре: немецкий кейс

Составитель Сергей Ташкенов

DOI: 10.53953/08696365_2022_178_6_416

Специфика литературоведения и культурологии в немецкоязычных странах проявляется уже в самих названиях этих дисциплин, имеющих форму множественного числа: *Literaturwissenschaften* (науки о литературе) и *Kulturwissenschaften* (науки о культуре). Такая, казалось бы, заданная самим языком многовекторность литературоведения подтверждается и его дисциплинарной подвижностью, отчетливо наблюдаемой последние десятилетия на волне «культурного поворота» не только в учебных планах университетов, но и в издательских программах (львиную долю которых, впрочем, формируют диссертации). В качестве небольшого, но характерного примера можно привести одну из литературоведческих серий издательства «transcript» — «Литеральность и лиминальность», которая постулирует «раскрытие филологических наук в сторону культурологической проблематики», обращается к «функциям литературной теории в науках о культуре», а саму литературу трактует как «знак культуры промежутка»*. Такое активное и, если угодно, модное перепрофилирование литературоведения заставляет задуматься над тем, что в традиционном смысле филологического остается в литературоведении и как оценивать эту экспансию культурологических подходов. Поразмышлять о статусе и судьбе «наук о литературе» в немецкоязычном регионе мы предложили пяти отечественным и зарубежным германистам и культурологам, задав им пять вопросов:

1. Какая (или какие) из опубликованных за последние пять лет литературоведческих работ произвела (произвели) на Вас наиболее сильное впечатление?
2. Что, по Вашему мнению, выделяет эти работы среди остальных?
3. Насколько эти работы соответствуют принципам и методам традиционного литературоведения или, наоборот, уходят от него в сторону смежных дисциплин?
4. Как бы Вы оценили сегодняшнее положение литературоведения среди гуманитарных наук? Это скорее филологическая или культурологическая дисциплина? Не происходит ли в новейших исследованиях литературы вымывание филологической составляющей?
5. Каким вы видите (или хотели бы видеть) будущее литературоведения? Не ждет ли его окончательное растворение в культурологическом научном поле?

Четыре респондента отвечают по пунктам, а пятый наш собеседник дает цельный ответ в виде эссе, охватывающего все заданные вопросы.

* См. описание книжной серии на сайте издательства: <https://www.transcript-verlag.de/reihen/literaturwissenschaft/literalitaet-und-liminalitaet/?f=12320>.

Лариса Полубояринова

(Санкт-Петербург)

1. В личном биографическом плане эпоха читательских эйфорий и «глубоких впечатлений» от научных текстов для меня скорее в прошлом, однако трудно переоценить важность такого опыта профессионального чтения, который, оставляя следы и отпечатки в уме и воображении, формирует тем самым контур и этос собственной жизни в науке. Тогда, в конце 1980-х гг., такими образцами и ориентирами были для меня в первую очередь труды М.М. Бахтина, С.С. Аверинцева и А.В. Михайлова, из немцев — Э. Штайгера. Чтобы протянуть ниточку к сегодняшнему дню и к заданному вопросу, отмечу, что когда-то сформировавшееся представление об уровне, «планке» литературоведческого высказывания, к которым хотелось бы стремиться, действует и теперь. Оно «отзывается» в тех случаях, когда вдруг наталкиваешься на работу по-настоящему высокого качества. Один из таких примеров — статья профессора Матиаса Майера из Аутсбургского университета о «кругах и эллипсах» у Адальберта Штифтера¹. Этот текст немецкого коллеги обратил на себя (не только) мое внимание, будучи прочитанным в виде пленарного доклада на XV съезде Российского союза германистов в Петербурге еще до того, как расширенный его вариант был опубликован в сборнике материалов съезда.

2. Бывает так, что имеешь дело не просто с оригинальным по замыслу, хорошо написанным и убедительным исследованием, а с мастерским, красивым ходом и ладом научной мысли, которым поневоле любишься. В этой статье привлек именно такой вот бонус — подарок эстетической ауры, красоты самого высказывания, редко свойственный исследованиям с повышенным градусом наукообразности. Это тот самый случай, когда литературоведение («критика») «забирает себе часть собственно творческой, созидательной силы <...>, она судит и отбирает, но делает это в форме собственного творчества, не ограничиваясь более ролью арбитра»². У Майера (не только в этой статье, но и в позже освоенной мною книге о лирике Гёте и в некоторых других его работах) все сходится и ладится: материал, метод, примеры, слог, и в результате возможно говорить о впечатляющей комплексности и глубине исследовательского прочтения при кажущейся простоте изложения.

Скажу пару слов о самой статье. Австрийский классик Адальберт Штифтер (1805—1868) — сложнейший и тончайший автор, исключительно консервативный как человек и писатель, в котором уникальный повествовательный дар сочетался со многими человеческими, слишком человеческими фобиями и неврозами. Последние спонтанно пробиваются сквозь его (в интенции и тенденции) гармонизированную нарративную историю, оставляя следы и знаки, в которых принято в последнее время усматривать яркие признаки «модерности». Стоявшая перед Майером задача — вписать поэтику Штифтера в парадигму «революции vs. эволюции», главной проблемы съезда, проходившего в «юбилейном» 2017 г., — была не из легких, и решена она виртуозно и со всей глубиной и тонкостью, без редуцирующей «подгонки» материала под заданную формулу «X vs. Y».

-
1. *Mayer M. Kreise und Ellipsen: Stifters Umgang mit Veränderungen* // Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 15. М.: Языки славянской культуры, 2018. С. 218—226.
 2. *Старобинский Ж. Отношение критики* / Пер. с фр. С. Зенкина // Старобинский Ж. Поэзия и знание: история литературы и культура: В 2 т. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 1. С. 30.

В качестве одного из модусов штифтеровской поэтики (на уровне не только телесных практик и репрезентации пространства, но и на уровне метафоры и синтаксиса) выделяется тяготение к фигуре круга, как будто бы гармонизирующей возможные дисбалансы как этического, так и эстетического плана. Это сознательный уровень поэтики и (закрепленной в письмах) поэтологии Штифтера. Параллельно, скорее бессознательно, как показано в статье на примерах из разных произведений автора, происходит неявное «сползание» штифтеровских «правильных» кругов к «неправильным» эллипсам. Особенно очевидно авторское тяготение к более сложному топосу, как считает Майер, в штифтеровском замысле романа об Иоганнесе Кеплере, немецком астрономе XVI—XVII вв., который и открыл эллипсоидную, «кривую» орбиту вращения планет Солнечной системы. (Кеплер был близок Штифтеру в немалой степени потому, что, как и сам писатель, полувынужденно провел вторую половину жизни в провинциальном Линце.) Исследователь обнаруживает у Штифтера отражение тайных, полусознанных «эллипсоидных» пристрастий и сбоев на разных уровнях произведений, включая стиль: интенционально «закругленные» фразы нередко «сбиваются» на эллипсы — эллиптически стянутые, дисбалансируемые фразы. «Проблематика эллипсов <...> в наиболее непосредственной форме отражает сложность, которой чревата утопия порядка, то и дело насильственно нарушаемая»³. Воля автора к «домодерной» гармонии просветительского образца подтачивается «некруглым» опытом «модерной» современности (Штифтер тяжело переживал мартовскую революцию 1848 г.) и с неизбежностью транспонирует подобные сбои на уровень композиции и стиля. Фигуры круга и эллипса, как и феномены эволюции и революции, оказались у Майера истолкованы исходя из поэтики текстов Штифтера и контекста его творчества — серьезно, нетривиально и красиво. Однако также и свежо, современно. Редкий пример достижения впечатляющего эффекта «новизны и актуальности» — посредством традиционного в целом аналитического герменевтического инструментария.

3. То, как анализирует текст и контекст Майер, — это как раз классическая линия немецкого литературоведения, восходящая к герменевтике и школе интерпретации Э. Штайгера. Такая ориентация исследования явствует из самой логики и стилистики рассуждений, хотя прямых отсылок к «теории» в статье нет. Тем более нет псевдонеобходимых привязок к разного рода «разворотам», будь то «лингвистический», «пространственный» или «антропологический», хотя, если посмотреть на штифтероведение последних двух десятилетий, такого рода подходы там давно и глубоко укоренились, самое позднее начиная с книги К. Бегемана о Штифтере и знаках⁴. Между прочим, в этой монографии, как и в более поздних своих работах, Бегеман применяет знаковые теории и парадигму деконструкции исключительно дозированно, идя преимущественно от произведения, чем включает себя скорее в соприродную немецкому литературоведению герменевтическую линию. Какое-то из статей Бегемана тоже можно было бы назвать в качестве близких мне по духу работ высокого уровня⁵.

3 Mayer M. Op. cit. S. 226.

4 См.: *Begemann Chr.* Die Welt der Zeichen. Stifter-Lektüren. Stuttgart: Metzler, 1995.

5 См., например: *Begemann Chr.* Realismus und Phantastik // Die Wirklichkeit des Realismus / Hrsg. von V. Thanner u.a. München: Fink, 2018. S. 97—113; *Idem.* „Ein Spukhaus ist nie was Gewöhnliches...“: Das Gespenst und das soziale Imaginäre in Fontanes Effi Briest // Herausforderungen des Realismus. Theodor Fontanes Gesellschaftsromane / Hrsg. von P.U. Hohendahl. Freiburg im Breisgau: Rombach, 2018. S. 203—241.

4. Если судить не только по неослабевающему институциональному диктату (грантодатели, реер-reviewers высокорейтинговых журналов и пр.), но и по поверхностно считаваемым «настроениям молодежи», наверное, можно было бы даже говорить о «зиме филологии», закономерно наступившей спустя примерно десятилетие после ее диагностированной С. Козловым «осени»⁶. Но я бы не стала спешить с выводами.

О «дискурсе методологической актуальности» как о необходимой внешней разметке научного поля и о его (важной, но вторичной) роли в собственно аутентичном научном поиске хорошо было сказано уже тогда, в том «неманифесте» С. Козлова, и данная оценка по-прежнему валидна. Очевидно, что крен в сторону большей популярности (особенно у начинающих исследователей) подходов к литературе с точки зрения cultural studies за последние десять лет усугубился. Когда все больше магистрантов нового набора заявляют, что хотели бы заниматься проблематикой постпамяти, гендерной идентичности, постгуманизма и т.д., — там, где раньше скорее высказывалось желание изучать творчество, скажем, Зебальда, Этвуд, Исигуро и т.д. или хотя бы «жанр», «ритм», «повествование» и т.д., — это важный симптом и сигнал, который вряд ли возможно и вряд ли позволительно игнорировать. Однако отменяется ли возросшей популярностью «культурологических» подходов и языков описания (показательной для гуманитарного знания в целом) первичное ремесло литературоведа или, шире, филолога как агента «службы понимания» (С.С. Аверинцев), задача которого — целостное профессиональное прочтение и интерпретация текста (произведения)?

Серьезное общение с текстом сейчас по большей части дефицитарный момент у (молодого) исследователя, воспринимающего литературу лишь в качестве «поставщика» подходящих примеров, иллюстрирующих ту или иную «актуальную» парадигму. Тут просто стоит подумать, что или кто нам интереснее и важнее: автор и его произведение, смысл которого рождается (всякий раз обновляясь) в процессе чтения и перечтения, или одна-единственная сколь угодно красивая, но равная самой себе теория/концепция/парадигма. Разницу прочтения филологического и, условно говоря, культурологического идеально уловил и выразил Ж. Старобинский в известном пассаже: «...каждый точный метод стабилизирует собой некоторый план, которому он адекватно соответствует. Чем более специфическим будет его язык, тем более предопределенными окажутся и факты, которые он улавливает, и способ их упорядочения. Он будет иметь дело с отношениями однородности и конгруэнтности. Как только исследователь определит свой угол зрения, он уже редко находит что-либо непохожее на цель своих поисков, что не ложится само собой в рамки языка, уже готового для его описания»⁷. «Вечную свежесть» традиционной литературоведческой работы с текстом и над текстом может променять на предзаданность «культурологического» подхода лишь тот, кто не испытал подлинных радостей филологии.

Отрадно отметить, что в рамках близкой мне как германисту традиции немецкого литературоведения после радикального «культурологического» крена 1990-х и особенно 2000-х появляются серьезные признаки другой тенденции — оживления их собственной немецкой литературоведческой герменевтики, столь блестяще практиковавшейся Штайгером и его школой. В 2007 г. на Гётевской конференции в Веймаре мне пришлось чуть ли не извиняться за то, что процитировала в докладе такую невозможную «архаику», как книгу Штайгера о Гёте. И вот в 2013—2016 гг.

6 См.: Козлов С. Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110. С. 15—22.

7 Старобинский Ж. Указ соч. С. 33.

в журнале «German Quarterly» появляется серия публикаций «SED CONTRA: диалог о ключевых проблемах литературоведения», серьезные участники которой (тон задавали Карстен Дутт и Дитер Тайхерт) эксплицитно ориентируются на Штайгера и на публикации серии «Поэтика и герменевтика», на протяжении двадцати лет (1964—1993) не дававшие угаснуть уникальной традиции литературной герменевтики в Германии. Пафос пропаганды и профилирования литературоведческой герменевтики как современной практики интерпретации, альтернативной «культурологическому» подходу, особенно явственен и убедителен в недавних работах Дутта, последнего ассистента Х.Г. Гадамера и председателя Гадамеровского общества.

5. Разумеется, я вижу будущее литературоведения светлым. Ведь оно определяется не нашими интенциями — хотим ли мы и можем ли «слить» его с культурологией или растворить его в ней. Будущее литературоведения определяется в первую очередь самой литературой и ее читателями. (Ср. высочайшее мнение о читателе и «литературном опыте» как об оплоте и оселке гуманистической рефлексии и саморефлексии у А. Компаньона⁸.) Данная субстанция и материя, сохранись она и впредь, на что уповаю, не даст превратить себя в набор подходящих примеров, иллюстрирующих «антропологический», «пространственный», «переводческий» и какой угодно еще «разворот», но пребудет как таковая, а с нею и мы, ее (именно ее) изучающие, толкующие и описывающие.

Вера Котелевская (Ростов-на-Дону)

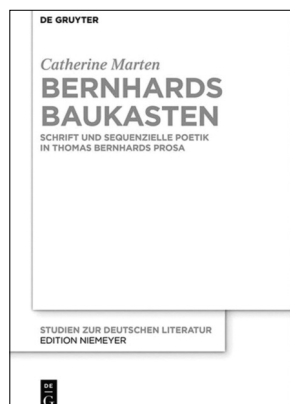
1. Сильных, временами неоднозначных впечатлений немало, и есть даже такая закономерность: чем более яркая, новаторская работа, тем больше к ней вопросов. Это как раз хорошо, и в особенности это касается исследований с последовательно (даже до навязчивости) реализованной методологией или новым ракурсом. Нередко в угоду новаторской методологии исследовательница или исследователь подверстывает под нее материал, сглаживая острые углы, несообразности, которые неизбежно возникают при желании уложить текст(ы) в прокрустово ложе непротиворечивой, «красивой» концепции. Такое хорошее, но сложное впечатление произвели на меня, например, две монографии: «Рука за работой: поэтика рукотворности в русском авангарде» (2017) Сюзанны Штретлинг⁹ и «Конструкторы Бернхарда: письмо и секвенциональная поэтика в прозе Томаса Бернхарда» (2020) Катерины Мартен¹⁰.

8 *Компаньон А.* Демон теории: литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. С. 41.

9 *Strätling S.* Die Hand am Werk: Poetik der Poiesis in der russischen Avantgarde. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017. (Рус. пер.: *Штретлинг С.* Рука за работой: поэтика рукотворности в русском авангарде / Пер. с нем. И. Микиртумова, С. Сиротининой, А. Чертенко. М.: Новое литературное обозрение, 2022. См. также рец.: *Яковец А.* Жестовый язык филологии // Новое литературное обозрение. 2018. № 153. С. 332—339. — *Примеч. ред.*)

10 *Marten C.* Bernhards Baukasten: Schrift und sequenzielle Poetik in Thomas Bernhards Prosa. Boston: De Gruyter, 2018.

2. Обе эти монографии, несмотря на разный материал, связаны с близким мне подходом: «формалистским» вниманием к устройству, способам конструирования художественного текста, но без ухода в имманентную поэтику, автономизацию текста. Напротив, тут ощутима тесная, местами даже детерминистская связь писательского эксперимента с культурной средой, ее импульсами и вызовами, социальными практиками, технологиями и идеологиями. Эти работы выделяются также явным вниманием к медиа: методологически они напрямую связывают особенности стиля, «поэтики» в узком смысле слова, с актуальными для эпохи и конкретно для исследуемых персоналий медиаинструментами и в социокультурном смысле — с медиаидеологией (последнее больше относится к книге Штретлинг).



Начну с книги Мартен. Многим, кто исследовал или даже просто читал или слушал произведения Бернхарда, знакомо и ощущение монотонности речи его героев, повествователей, и особый холодок этой сконструированной языковой реальности, напоминающей самые, вероятно, «холодные», рассудочные полифонические штудии Баха — его «Искусство фуги». При этом словоизвержение может доходить у Бернхарда до крайней степени экзальтации, превращая — пользуясь метафорой Хандке из пьесы «Каспар» — «истязание речью» (Sprechfolterung), которому подвергают себя персонажи, в такую же эстетизированную пытку для читателя и театрального зрителя. Катерина Мартен берется выявить и проанализировать некоторые меха-

низмы производства этой речи, которые раньше разве что мелькали в отдельных исследованиях, но не были ни систематизированы, ни соотнесены с сюжетами Бернхарда. Если большинство литературоведов связывали особое «секвенциональное» мышление австрийского писателя с музыкой (фугой, каноном, сонатой и т.д.), то Мартен обращает взгляд на медиаинструменты: роль печатной машинки, способы самокорректур, технику рукописи и машинописи, особенности работы с черновиками. Уже в отдельных мемуарах, например в книге друга Бернхарда, агента по недвижимости Карла Игнаца Хеннетмайра, можно было прочитать, что Бернхард с особой яростью стучал по печатной машинке, так что было слышно ближайшему соседу по двору в Ольсдорфе, и новые модели очень быстро приходили в негодность, из-за чего он долго довольствовался тяжеловесной машинкой, доставшейся от деда. И вот Мартен шаг за шагом показывает, как этот стиль печатания, схожий с пулеметной очередью, делает речевую ткань предельно перформативной, материально ощутимой, агрессивной, как механическое усилие метаморфирует в речепорождающее усилие мыслящего вслух персонажа. Она последовательно демонстрирует связь медиа с поэтикой: почти все пишущие герои Бернхарда испытывают патологические затруднения с письмом, больше вычеркивая, чем записывая, не в силах окончательно воплотить (маниакально-гениальные) идеи на бумагу, в то время как сам Бернхард с одержимостью ребенка, строящего здания из конструктора, громоздит слово на слово, буквально выбивает из машинки предложение за предложением, создавая в итоге парадоксальные тексты о невозможности текста.

В своем упорном стремлении выявить все детали медиаэкзистенции писателя исследовательница прослеживает и стиль работы Бернхарда с типографиями, редакторами, издателями — его предпочтения в области шрифтов, цвета, композиции и пр., его восприятие посторонней правки. Нельзя сказать, что все эти скрупулезно собранные под знаком медиапоэтики наблюдения и факты принципиально

что-то добавляют к пониманию стиля писателя, но очевидно, что они служат весомыми аргументами в этом понимании, а кроме того, доставляют чистое исследовательское удовольствие, чувство маленьких открытий в лаборатории творческого письма. (Интересны и в целом верны также сопоставления звуковой архитектуры прозы Бернхарда с музыкой техно.) В подобном ключе, кстати, ведет исследования другой филолог и медиаэстетик — американский германист Джейкоб Хаубенрайх из Университета Джонса Хопкинса. Он занимается, например, рукописями, карандашным письмом и рисунками шариковой ручкой у Хандке, черновиками Рильке. (Помню, меня поразило его наблюдение над записной книжкой Рильке, черновиком его «Записок Мальте Лауридса Бригге»: Хаубенрайх сравнил резкие горизонтальные зачеркивания в тексте с бинтами, которыми как бы перемотан текст-рана.) В таких исследованиях производят впечатление именно методологическая специфичность ракурса и продуктивность такого сужения перспективы: это сужение дает если не новый, то пристальный, как бы с наведенной резкостью, взгляд на особенности поэтики.



По пути медиапоэтики пошла и Штретлинг, написавшая, по-моему, блестящее исследование форм письма, печати, иллюстративно-изобразительного воплощения русской авангардной литературы. «Авангард» понимается в книге предельно широко — как сфера новаторского письма и поведения, поэтому здесь Ахматова соседствует с Хармсом. То, что авангард всегда больше, чем словесность, делает медиапоэтику оптимальным подходом. Штретлинг берет в качестве медиainструмента руку, которая становится одновременно органом моторики, мысли, письма, жеста, действия, объектом изображения, базовой метафорой и символом, частью некоего текстопорождающего и воспринимаемого — перформативного — целого. И для того

чтобы перечитать и пересмотреть (буквально) произведения Хлебникова и Митурича, Александра Родченко и Варвары Степановой, Алексея Толстого и Мандельштама, переосмыслить «биомеханику» Мейерхольда и марровскую концепцию письма, автор выходит в области антропологии, риторики, жестологии, семиотики, феноменологии — и истории культуры, конечно. При этом, что важно, сохраняется внимание собственно к речи, производимой рукой, и на это работают как поэтика, так и всевозможные разделы семиотики. Какой эффект это производит? Эффект Gesamtkunstwerk'a, погружения в материальную и духовную культуру эпохи, которая пронизывает художественную практику на всех уровнях, от бытового до метафорического. Нет видения отдельных «приемов», как бы лежащих на довести их изобретателей, — есть единый контекст, связь коллективного бытия с личным, низового — с интеллектуальным.

3. На мой взгляд, век «классического» литературоведения (то есть, если я верно понимаю, сведенного к чистой поэтике) был недолог. Он знаменовал короткий период узкой специализации, высвобождения поэтики из-под власти прежде не отрефлектированных и слитых с нею инструментов и сфер, от «грамматики» (в средневековом, по сути позднеантичном понимании) и риторики до историографического бытования внутри семьи искусств и (вульгарной) социологии и биографии в эпоху позитивизма/марксизма/фрейдизма. По сути, это 1900—1920-е в России и 1920—1960-е на Западе. Всевозможные «морфологические» концепции: формализм, новая критика, структурализм... Есть еще извод «истории литерату-

ры», понятой как поэтапное, детерминированное экономикой и культурой построение литературной истории, где отдельные поэтики — это как бы такие иллюстрации больших эпох. Так или иначе, и литературоведение, и филология в широком смысле, включающая лингвистику и риторику, почти никогда не мыслились как автономные. Поэтому, пережив явно освежающий период изоляции во всевозможных имманентных поэтиках, литературоведение вернулось из этой утопической ссылки готовым к новому синтезу. Мне не видится сегодняшний активный диалог со «смежными» и даже весьма отдаленными дисциплинами (биология, искусственный интеллект, цифровые методы) чем-то абсолютно новым и уж тем более угрожающим. Думаю, литературоведение никуда не «уходит». Оно осматривается и совершает две важные процедуры: с одной стороны, помещает произведение в сложно устроенный контекст (медиа — политика — этика — экономика — арт-рынок и языки искусств), высвечивая тем самым и всеобщее, и исторически уникальное, и создавая необходимое поле предпонимания поэтики; с другой стороны, видит в словесности один из инструментов репрезентации этого контекста, язык в ряду других (в этом смысле, например, описание хворей персонажей коррелирует с биополитикой, а куртуазный сюжет — со средневековой сословной иерархией и т.п.). Но такое герменевтическое самопонимание, конечно, делает неубедительными попытки исчерпывающе объяснять какие-то стилистические или композиционные особенности текста только волей автора или какой-то имманентной поэтологией течения, школы. Так что две книги, упомянутые мной, в хорошем смысле слова междисциплинальны: поэтика в них больше, чем поэтика.

4. Если уж говорить о выходе в смежные эпистемологические пространства, то литературоведение можно назвать не только «культурологическим», но и социологическим, и медиаэстетическим, и увязанным с такими дисциплинами, как историческая психология или философия экономики. Одной культурологии мало. «Филологическая» составляющая если и «вымывается», то в исследованиях или слабых, или же сильных, но тенденциозных (когда литературные тексты служат иллюстрацией яркого тезиса или метода). Слабое литературоведческое исследование — пожалуй, то, где перестает работать функциональная поэтика, где части не исследуются в их ансамбле, где «провисает» апелляция к устройству текста, к жанрово-дискурсивным законам за счет того или иного внехудожественного аргумента. По моим скромным наблюдениям, в немецкоязычном литературоведении происходит какое-то живое внутреннее отпочкование ветвей: тут — поэтика комикса (неизбежно междисциплинарная), тут — постколониальные исследования (неизбежно политизированные — хорошо, когда авторы отдают себе в этом отчет), а тут — история приема или жанра, вполне уместно апеллирующая к риторике топосов, укорененных в истории культуры не меньше, чем в поэтике. Мне кажется, ничего не «вымывается», если произведение продолжает сохранять свой эстетический статус (или антиэстетический — как театр вербатим или личные нарративы, что позволяет интерпретировать их под знаком минус-приемов).

5. О растворении литературоведения в любой из «смежных» дисциплин я бы говорить не спешила, но и не обольщалась бы насчет возможности пуристского литературоведения: последнее было бы историческим тупиком. Мне бы хотелось, чтобы литературоведение помнило о своем инструментарии — устройстве микрокосма произведения по аналогии с жизненным миром, но всегда с фикциональными искажениями, о роли ритма, композиции элементов, о (вторичной) семантизации всех языковых элементов, вообще о сконструированности текста на всех уровнях, преднамеренной или нет. Если есть конструкция, то можно описать текстопорож-

дающие законы и законы рецепции, и здесь смежная дисциплина как Другой не помеха, а ключ к самопониманию.

Ульрих Фрёшле
(Дрезден, Германия)

1. Должен признаться, немецкоязычные литературоведческие работы, по-настоящему глубоко меня впечатлившие, все превышают рамку пятилетней давности. В области истории литературы здесь можно назвать «Пиетизм и патриотизм в литературной Германии» (1961) Герхарда Кайзера¹¹, аутсайдерскую работу Ганса-Дитриха Сандера «Марксистская идеология и общая теория искусства» (1970)¹², исследование Вольфа Киттлера о Клейсте «Рождение партизана из духа поэзии» (1987)¹³, «Историю горизонта» (1990) Альбрехта Кошорке¹⁴, исторический анализ политической функции немецкой литературы Клеменса Порншлегеля «Литературный суверен» (1994)¹⁵ и поэтику экономического человека «Расчет и страсть» (2002) Йозефа Фогля¹⁶. Среди работ по теории литературы после «молодых» классиков герменевтики, семиотики, дискурсного анализа и эмпирического литературоведения можно упомянуть лишь великий труд Карла Айбля «Animal poeta: к биологической теории культуры и литературы» (2004)¹⁷, где понятие «теория» фигурирует далеко не только метафорически. Единственной литературоведческой книгой последних пяти лет, лично для меня оказавшейся большим событием, было объемное исследование Дитмара Дата о научной фантастике, которое вышло в 2019 г. под названием «История-никогда: научная фантастика как художественная и мыслительная машина»¹⁸.

2. Прежде всего, книга Дата действительно заполнила реальный пробел: это пронизательный историко-систематический синопсис и аналитическое осмысление научной фантастики — все еще недооцениваемого литературного жанра модерна, который демонстрирует богатство и масштаб, как мало какой другой. Познания Дата в этой обширной литературе огромны, категории его анализа и оценки натре-

-
- 11 *Kaiser G.* Pietismus und Patriotismus im literarischen Deutschland: Ein Beitrag zum Problem der Säkularisation. Wiesbaden: Steiner, 1961.
 - 12 *Sander H.-D.* Marxistische Ideologie und allgemeine Kunsttheorie. Basel: Kyklos, 1970.
 - 13 *Kittler W.* Die Geburt des Partisanen aus dem Geist der Poesie. Freiburg im Breisgau: Rombach, 1987.
 - 14 *Koschorke A.* Geschichte des Horizonts: Grenze und Grenzüberschreitung in literarischen Landschaftsbildern. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.
 - 15 *Pornschlegel C.* Der literarische Souverän: Studien zur politischen Funktion der deutschen Dichtung bei Goethe, Heidegger, Kafka und im George-Kreis. Freiburg im Breisgau: Rombach, 1994.
 - 16 *Vogl J.* Kalkül und Leidenschaft: Poetik des ökonomischen Menschen. München: Sequenzia, 2002. (Рус. пер.: Фогль Й. Расчет и страсть: поэтика экономического человека / Пер. с нем. К. Лощевского под науч. ред. А. Белобратова. М.: Изд-во Ин-та Гайдара; СПб.: Smolmny, 2022. — Примеч. ред.)
 - 17 *Eibl K.* Animal Poeta: Bausteine der biologischen Kultur- und Literaturtheorie. Paderborn: Mentis, 2004.
 - 18 *Dath D.* Niegeschichte: Science Fiction als Kunst- und Denkmachine. Berlin: Matthes & Seitz, 2019.

нированы на Гегеле, Марксе, Лукаче и Петере Хаксе. Это открывает ясный взгляд не только на темы сай-фая, но и прежде всего на его эстетическую форму и функцию, пусть даже читатель и не разделяет идеологических предпочтений автора. Из этого «кирпича» можно подчерпнуть множество сведений, отнюдь не только литературоведческих. Более того, книга написана в удобочитаемом стиле, то есть она не гонится в отчаянии за оригинальностью и не обязательно хочет звучать слогом Вальтера Беньямина.



3. Если понимать под этим формалистические или глубоко текстологические методы работы с художественным текстом, то академическая дисциплина во всем ее многообразии уже давно перестала соответствовать такому традиционному срезу. Книгу Дата все же можно отнести к классическому типу литературоведения, поскольку в ней литература рассматривается именно как вид искусства. Пересечение дисциплинарных границ при анализе культурных артефактов — дело довольно старое; даже герменевтические подходы к интерпретации всегда обращались к контекстам и тем самым использовали знания и методы других дисциплин. Меж- или трансдисциплинарность суть фетиши профилирования, как и другие подобные термины, обя-

занные «экономике внимания» (Георг Франк): их удобно использовать в нарративах подачи заявок на финансирование и в академической борьбе за территорию, но их номинальная ценность довольно невелика. Кстати, хотя Дат изучал литературоведение параллельно с физикой, он не работает литературоведом в университете, а является преимущественно писателем.

4. На содержательном уровне я считаю это псевдодихотомией, потому что любая филология всегда была частью исследований культуры — достаточно взглянуть на наших отцов-основателей, братьев Гримм. Даже во времена сокращающегося классического канона те, кто выделяется на общем фоне и хочет сделать карьеру, по-прежнему работают над каноническими авторами и текстами и по-прежнему существуют традиционные филологи, которые создают осязаемые и тщательно продуманные издания на всех уровнях медиа, то есть долговечные вещи, будь то в виде книг или в цифровом формате. Институционализированное в университетах литературоведение остается относительно стабильной дисциплиной, поскольку большинство студентов хотят получить квалификацию преподавателя немецкого языка и литературы в различных типах школ. Именно этот конкретный педагогический запрос гарантирует определенную преемственность филологически ориентированной германистики в Германии, а исследования, зацикленные на мнимом стороннем финансировании (де-факто перераспределении налоговых денег), едва ли играют здесь особую роль, независимо от того, что и как там исследуется. А вот что касается этоса и устойчивой доходности этого литературоведения, то здесь я скорее настроен пессимистично, под каким бы ярлыком оно ни пыталось себя рекламировать, будь то история медиа- или цифровой культуры, критика белой культуры, квир- или постколониальные исследования и т.д. Подобно жестким деконструктивистским работам 1990-х гг., большинство таких книг, в отличие от «Никогда-истории» Дата, через несколько лет перестанут кого-либо интересовать. Здесь — в очередной раз — шаткая форма идеологической схоластики в академической башне из слоновой кости угрожает филологическому фундаменту литера-

турных и культурных исследований, когда схематические подходы вытесняют уверенное, исторически осмысленное и открытое прочтение текстов. Это развитие, начавшееся в основном с *area studies* в США, нередко было связано с маргинализацией литературоведения, ориентированного на канон. Содержание филологических дисциплин также находится под угрозой из-за когнитивной обусловленности студентов и молодых преподавателей так называемыми новыми медиа. Говоря словами французского теоретика медиа Бернара Стиглера, «быстрым» цифровым медиа соответствует поверхностное внимание, «медленной» книжной культуре — глубокое. При истощении последнего истощаются литературоведческие интересы, навыки и в конечном счете легитимность дисциплины.

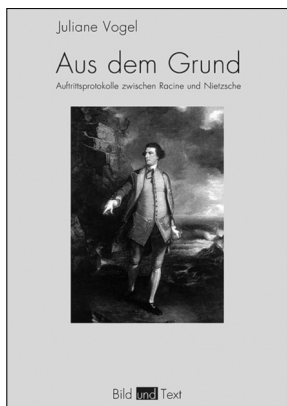
5. Будущее литературоведения и (серьезных) культурных исследований лично я вижу туманно-серым: еще какое-то время дисциплина сохранится благодаря подготовке преподавателей и будет формально связана с филологическими компетенциями. До тех пор пока будет достаточно налоговых денег для проведения «сторонних» проектов в области культуры и гуманитарных наук, исследования в области литературоведения будут продолжать соответствовать «современным» рамкам спонсирующих организаций, из чего не всегда следует устойчивая научная отдача. Пока не иссякнет электричество, медийные рамки, сложившиеся в ходе дигитализации, будут продолжать наносить ущерб культуре книги и чтения и вынуждать некогда филологически ориентированные дисциплины адаптироваться к себе. Таким образом, вполне возможно, университетская дисциплина литературоведение оторвется от своих филологических основ, а ее профиль размоется до неузнаваемости. Понятно, что литературоведение всегда будет сталкиваться с проблемой дилетантизма по отношению к предметам, к которым оно обращается. Каким бы я лично хотел видеть будущее литературоведения? Учитывая открытия, совершаемые в медиатеориях, когнитивной психологии и исследованиях мозга, литературоведению не нужно стыдиться своих филологических основ — наоборот, они должны уверенно перегруппироваться для борьбы за интеллект, о которой Бернард Стиглер ранее говорил: литературоведение предлагает и формирует ресурсы, систематически требующие глубокой внимательности и формирующие ее, которую также можно назвать способностью к концентрации. Те, кто расшифровывает абстрактные буквенные знаки и переводит их в образы; кто может погружаться в художественные тексты при чтении и вновь выходить из них; кто научился распознавать логику их порождения, то есть их семиотические, риторические, поэтологические и идеологические паттерны, смогут затем применить это и к другим медиа и артефактам. Филология должна быть обязанностью литературоведения, ее свобода заключается в открытости к другим медиа и в способности манипулировать методами других дисциплин, от этнологии до организационной психологии, если они помогают читать такие сложные паттерны, как тексты.

Конечно, развитие литературоведения нельзя рассматривать изолированно, оно является частью процессов, происходящих в обществе в целом. В университетском контексте одним из решающих факторов в Германии станет то, как будет формироваться школьное образование в будущем, будет ли сохраняться политическая тенденция к массовому университету или же возвращение к более высоким стандартам успеваемости — в том числе и в гуманитарных науках, что, в свою очередь, повлияет на школы. Вопрос о том, растворится ли литературоведение как самостоятельный бренд, продолжив свою работу под логотипом культурологии, в конечном счете является лишь вопросом маркетинга, а возможно, и проблемой трудоустройства.

Пер. с нем. Сергея Ташкенова

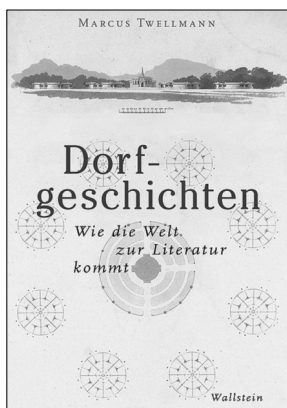
Альбрехт Кошорке
(Констанц, Германия)

1. Ответить на такой вопрос нелегко, потому что в повседневной читательской практике бодро перемешаны немецко- и англоязычные тексты, последние нередко в переводе на немецкий. Конечно, в литературоведении, в отличие от естественных и общественных наук, публикации, как правило, придерживаются соответствующего национального языка, однако и здесь контуры немецкоязычного мира размываются в направлении того, что претендует на роль глобального, де-факто североатлантического мира публикаций и циркуляции знаний.



В первую очередь на ум мне приходят две книги, написанные в моем непосредственном окружении в Констанце: исследование Юлианы Фогель «На передний план: сценические протоколы от Расина до Ницше» (2018)¹⁹ и монография Маркуса Твельмана «Деревенские истории: как мир приходит в литературу» (2019)²⁰. На первый взгляд, не может быть двух более разных работ, чем эти. Фогель прослеживает историю драматургии в добротной западноевропейской манере от греческой Античности через придворный театр французского абсолютизма до Гёте, Шиллера и театральных дискурсов XIX в. Твельман же обращается к гораздо более скромной теме — истории деревни, то есть не к героико-капиталистическому жанру, а провинциальному в программном смысле. Однако, как ему удалось показать, именно этот «низкий» жанр демонстрирует чрезвычайную любовь к странствиям. Он также опирается на античные (в данном случае римские) традиции, однако путешествует не только по эпохам, но и по регионам и континентам: его пути ведут в немецкий Шварцвальд (Бергольд Ауэрбах), в колонизированную Великобританией Индию, в русский деревенский коммунизм, в Италию Грамши и в постколониальную Танзанию, и это лишь некоторые ориентиры.

Обе работы, несмотря на все различия, объединяет интерес к вопросам жанра и литературной формы. Исследование Фогель не просто история драмы или театра, а своего рода элементарная теория театральных форм. Основной единицей, на которой она фокусирует внимание, является вступление на сцену: как, когда, на какой части сцены и в какой позе появляются *dramatis personae*? Как выражается их иерархия с точки зрения сценической репрезентации? Как инсценируется величественность героев через их появление перед зрителем, какому придворному и драматургическому протоколу они следуют и, самое главное, как такие величественные фигуры покидают сцену в ходе трагических перипетий? С этой точки зрения сценические со-



Обе работы, несмотря на все различия, объединяет интерес к вопросам жанра и литературной формы. Исследование Фогель не просто история драмы или театра, а своего рода элементарная теория театральных форм. Основной единицей, на которой она фокусирует внимание, является вступление на сцену: как, когда, на какой части сцены и в какой позе появляются *dramatis personae*? Как выражается их иерархия с точки зрения сценической репрезентации? Как инсценируется величественность героев через их появление перед зрителем, какому придворному и драматургическому протоколу они следуют и, самое главное, как такие величественные фигуры покидают сцену в ходе трагических перипетий? С этой точки зрения сценические со-

19 Vogel J. Studie *Aus dem Grund: Auftrittsprotokolle zwischen Racine und Nietzsche*. Paderborn: Wilhelm Fink, 2018.

20 Twellmann M. *Dorfgeschichten: Wie die Welt zur Literatur kommt*. Göttingen: Wallstein, 2019.

бытия можно с большой точностью анализировать как микрокосм отношений власти, поскольку границы между практиками эстетической и политической репрезентации становятся проницаемыми в обоих направлениях. Твельман в своей книге тоже объединяет различные точки зрения: институциональную, жанровую и теоретико-формульную. Его интересует бытовая и экзистенциально-бытовая форма «деревни» — и как воображаемая конструкция, в идиллизации и идеологическом наполнении которой решающее участие принимала литература, и как политико-административная единица, игравшая большую роль в административной конфигурации сельских регионов в Европе и на колониальных территориях. Здесь также тесно переплетаются эстетические и политические процессы.



Возможно, стоит упомянуть еще одну книгу, вышедшую, впрочем, уже шесть лет назад. Она называется «Вильгельм Телль, импорт — экспорт: герой в дороге»²¹. Оба живущих в Швейцарии автора, Михаэль Блаттер и Валентин Грэбнер, с юмором подрывают швейцарский национальный миф, связанный с героем свободы Теллем. К досаде ксенофобских швейцарских нативистов, они показывают, что Телль не только не историческая личность, но и не автохтонный швейцарец. Следы его происхождения ведут в Персию, территория которой сегодня называется Ираном и считается рассадником особо радикальной разновидности исламского фундаментализма. Когда палестинские террористы, в свою очередь, ссылаются на Телля как на

свой образец для подражания, круг смыкается: перед нами странствующий мотив с устойчивой формой, но с противоположными идеологическими контекстами.

2. Эти две книги посвящены взаимодействию литературного вымысла и социального воображения. Насколько мощным может быть такое воображение и как сильно оно определяет коллективные действия, видно из сегодняшнего дня. Если сосредоточиться на этой взаимосвязи, то изучение литературы, даже если она относится к прошлому, становится политическим и актуальным. С одной стороны, соответствующие работы выделяются из филологической традиции, которая изолирует литературу от ее социально-политического окружения. Однако, с другой стороны, они относятся к своему предмету аналитически, а не активистски и преследуют ярко выраженный исторический интерес. Это отличает их от поверхностной политизации современных cultural studies. Им помогает тот факт, что в немецкоязычном исследовательском ландшафте исторические исследования, этнография, теория медиа, институциональная теория, нарратология и идея перформанса, концепция власти и анализ эстетических форм движутся навстречу друг другу и в идеале даже образуют своего рода альянс.

3. Я бы говорил о расширении литературоведения, а не (как иногда опасаются) о его самоотчуждении или потере «сущности». В отличие от все еще сильно ориентированной на марксизм социальной истории полувековой давности, литературные явления в вышеупомянутых исследованиях рассматриваются не только как производные переменные. Напротив, сама социальная реальность сегодня до глубины пронизана вымыслами, воображаемыми образами, нарративами и перфор-

21 Blatter M., Groebner V. Wilhelm Tell, Import — Export: Ein Held unterwegs. Basel: Hier und Jetzt, 2016.

мативами, так что эстетическое измерение — как внутреннее, так и внешнее по отношению к литературе — по-новому выходит на передний план.

4. Споры между «рефилологизацией» и «культурологическим расширением» литературоведения велись в основном на рубеже тысячелетий и с тех пор утихли. Конечно, все еще существуют различные акценты в исследованиях, но видно, что оба направления вполне совместимы друг с другом. Кроме того, сами культурные исследования, с одной стороны, стали более институционализированными, а с другой — теряют свою привлекательность как парадигма. На это есть несколько причин. Во-первых, они перестарались, — например, в области так называемой поэтики знания, — выйдя за рамки своей компетенции. Во-вторых, на них возлагают долю ответственности за то, что акцент на вопросах символического признания и культурной идентичности привел к тому, что предположительно более актуальная проблема социального неравенства и борьбы за распределение отошла на задний план. Здесь прослеживается своего рода «новый материализм», который опирается на старую социальную историю, но обогащает ее полученными за это время теоретическими знаниями. Наконец, в-третьих, на повестке дня появились новые «повороты», которые обнаруживают лишь условную связь с «культурологическим поворотом»: цифровые гуманитарные науки, когнитивная поэтика, экокритицизм. Эти новые направления исследований, большинство из которых зародились в США, гораздо дальше отстоят от традиционной филологии, чем немецкие культурные исследования, все еще работающие в значительной степени герменевтически.

5. Существуют тенденции, которые невозможно отрицать. Литература как вид искусства, привязанный в первую очередь к книжному носителю, теряет свое значение. Таким образом, различные отрасли филологии все больше превращаются в дисциплины, связанные с прошлым. Потребительские привычки меняются. Даже те, кто изучает в Германии такой предмет, как германистика, в большинстве случаев демонстрируют не столько читательскую биографию, сколько общую медийную социализацию. Школьные программы адаптируются и рассматривают культивирование так называемой высокой литературы (то есть знание канонизированных поэтов и произведений) уже как не единственную и, возможно, даже не главную задачу.

С другой стороны, в соответственно изменившихся условиях новый бум переживают поэтические практики в цифровом пространстве. Таким образом, эта область находится в состоянии текучести. Кроме того, литературоведением больше невозможно заниматься в рамках национальных филологий XIX в. Здесь встает вопрос о его транснационализации или даже больше: о возможности глобальной истории литературы. Однако этому мешает то обстоятельство, что литература привязана к вернакулярным языкам, из которых она возникла, в большей степени, чем другие виды искусства и формы знания. Как могла бы выглядеть история мировой литературы, которая не была бы просто гигантской антологией переводов на английский язык, своего рода доминирующей глобальной аксиомой? Как бы выглядела хоть одна программа по европейским литературам, которая была бы достойна этого названия, а не возникала сутубо из соображений экономии? Все это вопросы выживания литературоведения, которому в значительной степени придется изобретать себя заново.

Пер. с нем. Сергея Ташкенова

Дорис Бахманн-Медик
(Гисен, Германия)

На вопрос, какие литературоведческие работы за последние пять лет произвели на меня особое впечатление, на ум не приходит какого-то одного конкретного исследования. Тому есть причина. Будучи культурологом, получившим образование в области литературоведения, в последние годы я все больше фокусируюсь на теории культуры и все дальше отхожу от традиционных филологических исследований. (Под традиционными я подразумеваю прежде всего исследования, сосредоточенные на выдающихся произведениях, которые, согласно классическому пониманию гуманитарных наук, считаются продуктами индивидуума.) Однако такой отход соответствовал и новым процессам внутри самого литературоведения. В последние годы, например, немецкоязычное литературоведение уже само по себе значительно сместилось в сторону культурологической оптики. Художественные тексты все чаще рассматриваются во взаимосвязи с медиальными, полифоническими формами производства и в более широких культурных контекстах. Они исследуются с точки зрения их встраивания во всеобъемлющие дискурсы, сети, стили письма и формы повествования. В настоящее время эти изменения происходят во многих отношениях; именно поэтому я дам не один, а несколько ответов на первоначальный вопрос и приведу несколько примеров.

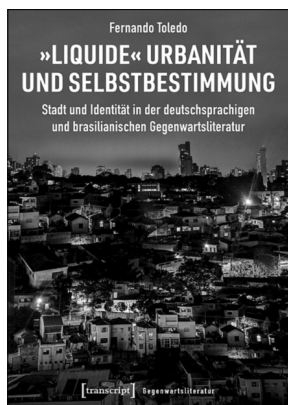


Начну с книги литературоведа Генриха Детеринга «Люди в мировом саду: открытие экологии в литературе от Халлера до Гумбольдта» (2020)²². Это исследование выделяется прежде всего тем, что не ограничивается литературоцентричным рассмотрением одного произведения или автора, — скажем, Гёте, Штифтера или Кафки (будь то внимательное прочтение под филологическим углом зрения или культурологическая, социологическая или философская интерпретация). Вместо этого Детеринг открывает целый исторический корпус литературно-экологических текстов начиная с XVIII в. (А. фон Халлер, Гёте, Арним, Новалис и др.), но не для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать на их примере всеобъемлющую экологическую

перспективу и тем самым заявить о них в современных дискурсах настоящего и будущего под ярлыками «экокритицизм», «письмо о природе» или «письмо о ландшафте». Нет, гораздо более эффективной является его попытка раскрыть ранние литературные подходы к осознанию экологической перспективы исходя из самих литературных текстов. Таким образом, литература ни в коем случае не рассматривается как пассивный объект интерпретации или как простое свидетельство текущих социальных дискурсов. Скорее, она сама со всей серьезностью воспринимается как независимая интерпретирующая и проблематизирующая инстанция, которая участвует в современных дискурсах (об отношениях между людьми и природой) или даже приводит их в движение.

Схожую аргументацию использует автор из молодого «межкультурного» поколения Фернандо Толедо в книге «“Текучий” урбанизм и самоопределение: город и

22 Detering H. Menschen im Weltgarten: Die Entdeckung der Ökologie in der Literatur von Haller bis Humboldt. Göttingen: Wallstein, 2020.



идентичность в современной немецкоязычной и бразильской литературе» (2022)²³. В этом недавнем компаративистском исследовании также делается акцент на раскрытии потенциала самой литературы: она является здесь необходимым «испытательным пространством, в котором субъективность и восприятие пространства производятся нарративными средствами» (с. 12). В эстетико-нарративной форме литературные тексты не являются простым описанием городских реалий; они сами по себе создают многослойные городские пространства, поскольку отражают их воздействие на субъектов и их повествовательное построение (культурологическая линза пространственного поворота здесь существенно обостряет зрение). Как показывает этот

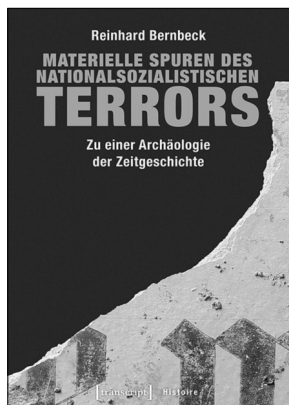
интересный анализ, тексты оказываются еще одним средством преумножения пространственных и прочих идентичностей. Словно в лаборатории, они развивают спектр социальных форм восприятия, которые, в свою очередь, оказывают влияние на восприятие самого города, а также на поведение реальности вне литературы в целом.

Что поражает в таких трансграничных литературоведческих подходах к тексту (которые в настоящее время широко распространены наряду с научно-критическим изданием литературы и более узкими филологическими исследованиями), так это удивительная «размытость», гибридизация: между литературоведением и естественными науками, антропологией и литературоведением, художественной литературой и социальными дискурсами. В своем исследовании литературной экологии Детеринг неоднократно ссылается на сопоставимые концептуализации со стороны *science studies*, эколого-научной рефлексии, натурфилософии. Но здесь он историзирует каждый отдельный кейс, избегая его сокращения до современных дискурсов, притом что уже в XVIII в. можно найти многочисленные пересечения между литературой как поэзией природы и научными исследованиями. Именно литературоведение демонстрирует здесь, что сегодняшние проблемные ситуации также имеют глубинное измерение, которое может быть реконструировано из исторических точек литературных сопряжений. Не в последнюю очередь такой подход дает человеку важные ориентиры. Точнее говоря, здесь видна эффективность литературоведения, способного воспринимать тексты как «лабораторию точек зрения и форм мышления», как «мысленный эксперимент», пользуясь выражениями Детеринга (с. 25, 11), и плодотворно вводить их в новые экологические дискурсы XXI в. в качестве допустимых альтернатив. Таким образом, в этом движении мысли сама литература с ее идиосинкразическими и особыми эстетическими и повествовательными формами репрезентации ни в коем случае не остается в стороне. Совсем наоборот. Как субъектнозависимое средство воображения литература делает «мыслимым и артикулируемым» (с. 11) то, что современная объективирующая наука еще не может себе представить и что мы сегодня — перед лицом почти эпохальных перемен — в своих ограниченных рамках теоретического мышления и с помощью традиционных понятий зачастую даже не способны осознать.

Такое литературоведение разрабатывает модели восприятия реальности и возможные сценарии будущего на основе литературы. И она идет еще дальше, профилируя собственные методы и направляющие категории, такие как нарратив-

23 Toledo F. „Liquide“ Urbanität und Selbstbestimmung: Stadt und Identität in der deutschsprachigen und brasilianischen Gegenwartsliteratur. Bielefeld: transcript, 2022.

ность, производство доказательств, эвокация, мышление возможностей и т.д., до такой степени, что они оказываются продуктивными и для других наук и даже могут быть переведены в арсенал социальных действий. Первое, что бросается в глаза, это сильнейшее расширение категории наррации: нарративные формы историографии (Хейден Уайт), нарративные движущие силы экономики (Роберт Дж. Шиллер) и т.д. Более того, литературоведческая система знаний нарратологии не только пронизывает самые разные дисциплины — она практически распространяется на вездесущность нарративов в повседневной жизни, понимая их как незаменимые культурные техники, как основные паттерны порождения смыслов и ориентирования действий. С этим связан тематический выпуск «Германо-романского ежемесячника» под названием «Кризисные нарративы и сценарии», для которого я написала статью «Затяжная лиминальность: вызов для гуманитарных наук и исследований культуры в условиях пандемии»²⁴. Вдохновленная коронакризисом, эта статья показывает (среди прочего) не только, как нарративы продолжают распространяться, так сказать, вирусным путем, но и как можно осмысленно с ними обращаться: отвергать их или даже придумывать альтернативные нарративы.



Наконец, нельзя не затронуть и вопросов этики повествования, ставших особенно актуальными благодаря литературоведческой рефлексии. В этом плане дальнейшее осмысление литературоведения можно найти и в одном из самых примечательных исследований последних лет — в превосходной книге Райнхарда Бернбека «Материальные следы национал-социалистического террора: к археологии современной истории» (2017)²⁵. Бернбек демонстрирует захватывающий пример новой формы археологии, которая творчески переносит свои ноу-хау на современную историю и фокусируется на раскопках эпохи национал-социализма. Место раскопок Бернбека — лагерь принудительного труда и концентрационный лагерь на Темпельхофер-

Фельд в Берлине, где среди прочих содержались подневольные рабочие из стран Советского Союза. Бернбек утверждает, что, сталкиваясь с раскопанными реликвиями страданий, необходимо найти новые «формы интерпретации, способные вызвать более благодарное отношение к предметам прошлого, не создавая в то же время какого-то доходчивого, непрерывного повествования» (с. 250). Плодотворно используемая здесь литературоведческая категория нарратива существенно расширяется. Ибо изначально довольно неприметные маленькие повседневные предметы, которые были обнаружены, нелегко ввести в контекст повествования. Однако они обладают необычайным эвокативным потенциалом. Ведь именно благодаря своей фрагментарной природе останков они бросают нам вызов, заставляя представить себе следы и остатки бесчеловечных условий существования, которые все еще цепляются за них, — для того чтобы критически их обнажить. Новаторское расширение наррации служит здесь и тому, чтобы в саму науку включить воображение как непростой вызов, чтобы сознательно открыть «пространство возможностей, которое очерчивают альтернативные нарративы» (там же). Для этого можно

24 *Bachmann-Medick D.* Anhaltende Liminalität: eine Herausforderung der Geistes- und Kulturwissenschaften in der Pandemie // *Germanisch-Romanische Monatsschrift*. 2020. Vol. 70. № 3/4. S. 509–520.

25 *Bernbeck R.* *Materielle Spuren des nationalsozialistischen Terrors. Zu einer Archäologie der Zeitgeschichte*. Bielefeld: transcript, 2017.

привлечь даже «мысленные эксперименты» чувствительного к языку геттингенского физика, естествоиспытателя и афориста Георга Кристофа Лихтенберга. Как подчеркивает Детеринг (с. 161—162), уже в XVIII в. они обуславливали продуктивные трансгрессии между научными открытиями, поэтическими фантазиями и концепциями будущего.

Однако такое «размывание» методов, интерпретационных подходов и научных оптик в самых разных дисциплинах следует рассматривать не как процесс растворения, а скорее как процесс большого обогащения. Особенно обогащающим здесь оказывается такое литературоведение, которое сохраняет свои нарративы, формы воображения и формирование аффектов открытыми для дальнейшего развития (например, в археологии), чтобы иметь возможность вновь обратиться к ним с новыми импульсами.

Ввиду такого пересечения гуманитарных дисциплин решающий вопрос: «Действительно ли литературоведение все больше поглощается культурологией?», — возможно, следует поставить несколько иначе. Ведь во времена «интеллектуальной транскulturации» (Джордж Стайнметц), к которым относится и наше настоящее, границы между дисциплинами в любом случае стали проницаемыми как никогда. Тем временем даже сами литературные тексты стали теоретизированными, поскольку ссылаются на полемические теории и концепции (гибридность, идентичность и т.д.), а нередко даже работают со сносками. Поэтому не удивительно, что литературоведение также отреагировало на это развитие гибридным образом и уже давно размыло свои границы с другими гуманитарными науками. Поэтому, возможно, нам следует ответить на этот вопрос не так огульно, то есть задаться более конкретным вопросом: «Как именно выглядят эти пересечения границ и какие формы в лучшем случае может принять культурологическое литературоведение, которое не отрицает своих специфических методов и собственных инструментов интерпретации?» Здесь можно лишь наметить несколько возможных форм:

- 1) культурологическая интерпретация литературы, признающая ее самоинтерпретирующую силу, которая инсценирует формы восприятия, апробирует действия, экспериментально разыгрывает мысли;
- 2) интерпретация литературы с точки зрения ее вклада в более широкий контекст социально значимых дискурсов (болезнь, пандемия, климатический кризис);
- 3) интерпретация литературы с культурологически подготовленным, систематическим вниманием к отдельным мотивам и концептам (родина, любовь, отворачивание, миграция и т.д.);
- 4) интерпретация литературы с целью тематизации и осмысления социальных проблем (вклад художественных текстов в решение проблем);
- 5) профилирование методов литературоведения в рамках различных дисциплин (нарративность, эвокация, вопросы авторства и т.д.), которые используются, например, в истории, экономике и т.д. в качестве исследовательских оптик и аналитических категорий.

Вывод может показаться парадоксальным: именно благодаря экспансии культурных исследований специфические возможности и потенциал литературы становятся узнаваемыми и, в свою очередь, называемыми в литературоведческом анализе. Но перспективу познания можно и перевернуть: науки о культуре — и даже социальные и естественные науки — также нуждаются в литературоведении, поскольку в противном случае они начинают поспешно склоняться к аналитическим обобщениям и объективизациям, которые легко могут оставить без внимания субъективное восприятие, эмоции, противоречивые установки и т.д. Когда мы сегодня сталкиваемся с огромными масштабами антропоцена и планетарности, то есть с со-

творенной людьми эпохой Земли, когда приходится осознать, что ввиду нашего экологического поведения, все больше соприкасающегося с Нечеловеческим, мы сделались как силой, так и опасностью, изменяющей Землю, — как раз тогда оказывается, что нам все еще нужны инстанции, которые направили бы наш взгляд на способы реагирования и формы повествования, на воображение и предвидение, на воспоминания, страхи и надежды отдельных людей — и не в последнюю очередь на возможность вмешаться в то, что кажется неизбежным. Литература и есть одна из таких инстанций.

Пер. с нем. Сергея Ташкенова